

БИБЛИОТЕКА

ОГОНЁК

№ 16 1969



*Михаил ШОЛОХОВ*

# ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА» МОСКВА

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 16

Михаил ШОЛОХОВ

# ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ

(ГЛАВЫ ИЗ РОМАНА)

Издательство «ПРАВДА»

Москва. 1969

**Михаил Александрович Шолохов**  
**ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ**

Редактор — **К. ПОТАПОВ**

Технический редактор Я. Б о р и с о в.

---

А 00075. Подписано к печати 17/IV 1969 г. Формат бум. 70×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>.  
Объем 2,10 условн. печ. л. 2,41 учетно-изд. л. Тираж 300 000.  
Изд. № 802. Заказ № 652. Цена 6 коп.

---

Ордена Ленина типография газеты «Правда» имени В. И. Ленина.  
Москва, А-47, ул. «Правды», 24.

Был уже на исходе май, а в семье Стрельцовых все оставалось по-прежнему. Что-то непоправимо нарушилось в совместной жизни Ольги и Николая. Произошел как бы невидимый надлом в их отношениях, и постепенно они, эти отношения, приняли такие тяжкие, угнетающие формы, о которых супруги Стрельцовы еще полгода назад никак не могли бы даже и помыслить. День ото дня исчезала былая близость, надежно связывавшая их на протяжении одиннадцати лет, ушла в прошлое милая интимность вечерних супружеских разговоров, и уже ни у одного из них не возникало желания поделиться своими тревогами и заботами, неприятностями и маленькими радостями по работе. Зато чаще, чем когда-либо, иногда даже по пустяковому поводу вдруг вспыхивали ссоры и разгорались жарко, как сухой валежник на ветру, а когда наступало короткое примирение, оно не приносило облегчения и успокоенности. Недолгое затишье походило скорее на перемирие двух враждующих сторон и не снимало ни настороженности, ни скрытой, возникавшей откуда-то из потаенных глубин взаимной неприязни.

Еле ощутимый поначалу холодок в их отношениях все больше крепчал, становился пугающе привычным. Он входил в жизнь, превращался в неотъемлемую часть ее, и с этим уже ничего нельзя было поделать. У Николая иногда возникало такое, чисто физическое ощущение, будто он длительное время живет в нетопленной комнате, постоянно испытывая непреходящее желание побыть на солнце, погреться...

Глядя на себя как бы со стороны, он замечал, что стал и на работе и дома несдержан, чрезмерно раздражителен; все чаще в общении с людьми овладевало им чувство нетерпимости, ничем не оправданной вспыльчивости. А ведь прежде таким он не

был... Впрочем, подобные изменения наблюдал он и в характере Ольги. Все это способствовало возникновению случайных пререканий, неизбежно переходивших в ссоры.

С болью, с тоскливым выжиданием Николай чувствовал, как с каждым днем Ольга отдаляется от него, уходит все дальше, а он уже не в силах ни ласково окликнуть ее, ни вернуть. И вот это сознание собственного бессилия, невозможность что-либо изменить, томительное ожидание надвигающейся развязки и делало жизнь под одной крышей и непомерно тяжелой и постылой.

Еще с весны Ольга под предлогом наступающих экзаменов проводила все свободное послеобеденное время то в школе, то у подруг-учительниц. Ребенку она почти не уделяла внимания, целиком передав его на попечение бабушки. Николаю незачем было искать предлогов, чтобы возможно реже бывать дома: весновспашка, очистка семян, сев яровых, а затем пропашных культур, забота о парах, прополка хлебов,— все это полностью поглощало его время. По утрам он со смешанным чувством облегчения и горечи покидал дом, возвращался только ночью, когда Ольга, проверив тетради, уже спала, и это обстоятельство в какой-то мере помогало уменьшению стычек. Однако, избегая друг друга, внутренне опасаясь оставаться наедине, они оттягивали решающий разговор и тем самым усугубляли взаимные мучения и неустроенность в семье.

Разрыв, как видно, в равной мере страшил и Ольгу и Николая, и хотя неотвратимость его была ясна для них,— никто не хотел первым брать на себя инициативу.

Как ни странно, но теща Николая с самого начала семейного конфликта стала на сторону зятя. Несколько раз Николай, почему-либо возвращаясь домой в неурочное время, еще издали, со двора слышал отголоски бурных сцен между Ольгой и Серафимой Петровной. Но как только он брался в сенях за дверную ручку,— в доме все мгновенно смолкало. Теща, поджав губы, проходила мимо Николая, величественная и неприступная в своем материнском негодовании, а Ольга с заплаканными глазами старалась поскорее исчезнуть из дома и после долго от-

существовала, появлялась только в сумерках, чтобы не так заметно было ее опухшее и подурневшее от слез лицо.

А тут еще маленький Коля. Ребенок с прозорливостью взрослого сразу заметил наступивший между отцом и матерью разлад, но, не будучи в состоянии понять его причины, потянулся к бабушке, в ее комнатке, расположенной рядом с кухней, учил уроки, там же и спал, решительно переселившись из своей комнаты под предлогом того, что ночью один боится. Николай не раз во время обеда или завтрака ловил его короткие вопрошающие взгляды, а как-то ответить на них не было возможности. Не того возраста был маленький пытливый человечек...

Ольга встречалась с Юрием Овражным не только в школе. Николай догадывался об этом, но заставить себя следить за женой не мог, не мог ни при каких условиях. Это было выше его сил. И тогда, когда она задерживалась допоздна в школе или у подруг, — он не выходил со двора, молча сидел в темноте на крыльчке, курил, ждал. За калиткой звучали стремительные шаги Ольги. Он сумел бы различить их среди тысячи женских шагов, он знал на память эту летучую, быструю поступь. И всегда, заслышав знакомый перестук каблучков, испытывал легкое удушье и словно бы замедленное биение сердца. Ольга молча проходила мимо, опавнув его запахом свежего платья, теплой вечерней пыли, а он слегка отодвигал в сторону голенастые ноги, пропускал ее и шел следом на кухню. Там они молча ужинали, изредка перебрасываясь незначущими фразами, расходились спать. Утром все начиналось снова.

За всю весну Николай встретился с Овражным только раз — случайно, на улице. Он ехал верхом на Воронке в поле, Овражный шел ему навстречу к лавке сельпо. На улице стояли лужи, ветерок гнал по ним мелкую ребристую рябь. Вода в лужах нестерпимо блестела под солнцем, нагретый воздух был щедро налит пресным запахом талого снега, влажного чернозема. Конь разбивал копытами воду, с всплеском летели по сторонам брызги, радужно вспыхивая на солнце; смачно чавкала и выворачивалась из-под конских бабок мазутно-черными комками грязь. Вразнобой голосили петухи, где-то в ближнем дворе истомно

кудахтала курица, и, пробуя силы, пел в сизой дымчатой синеве косо снижавшийся на сырую землю выгона первый жаворонок. Такая умиротворенная благодать стояла над Сухим Логом, что Николай забыл обо всем на свете, покачиваясь в седле в такт лошадиному шагу, опустив поводья, всем существом своим бездумно радуясь и прохладному ветерку, и солнцу, ненадолго скрывавшемуся за облаками, похожими на прозрачные хлопья тумана, и несмелым певческим пробам жаворонка.

А тут, увидев невдалеке осторожно пробиравшегося возле плетня, оскользавшегося по грязи Овражного, вдруг мгновенно почувствовал жесткую спазму подступившего к горлу удушья. Мир стал странно немым, начисто лишился звуков. Николай видел только приближавшегося Овражного. Видел всего с головы до ног: красивое, смугло-румяное, круглое лицо с черной полоской усов, смоляную челку, выбившуюся из-под примятого поля серой мягкой шляпы, нарядный, красно-черный четырехугольник вышивки украинской рубашки, серый в полоску пиджак, небрежно накинутый на широкие ладные плечи; видел разъезжавшиеся по грязи ноги в черных стареньких брюках и заляпанных грязью коротких резиновых сапогах. Таким Юрий Овражный и сохранился в памяти Стрельцова на всю жизнь, как мгновенно выхваченный из кадра цветного фильма. А в тот момент Николай неотрывно и жадно всматривался в лицо человека, разрушившего его жизнь, ставшего смертным врагом. Поравнявшись, Овражный весело блеснул зубами:

— Доброе утро, Николай Семенович! Ну и грязищу развезло! А еще называется это божье место Сухой Лог.

Николай хотел ответить на приветствие, но в горле у него как-то тихо и хрипло забулькало. Он сделал судорожное глотательное движение, однако так и не смог ничего сказать. А когда поднимал к козырьку правую руку, то плеть повисла на ней, будто пудовая гирия...

Проехав шагов десять, Николай оперся левой рукой о подушку седла, оглянулся. Овражный смотрел на него, придерживаясь за колышек плетня, и на резко очерченных губах его бродила неясная улыбка.

До поворота в переулок Николай ехал шагом и снова слышал и довольное пофыркивание Воронка, и неустанно воспевавшего весну жаворонка. Мир снова обрел звуки, запахи, живое дыхание... За поворотом Николай пустил Воронка крупной рысью, от хутора перевел его в намет и придержал только километра через полтора, в степи. И всадник и конь, остановившись, разом тяжело вздохнули.

«А ведь я мог его убить. Всего несколько минут назад. Вот так спешился бы, подошел вплотную, протянул руку и вместо рукопожатия схватил за горло. А через мгновение он уже лежал бы в грязи подо мною. И кто бы его отнял у меня? Кто вырвал из моих рук? На улице — никого. Пока спохватились бы люди... Я сильнее, намного сильнее его. Левой рукой прижал бы правую руку к земле, и все, конец! А потом?..»

Не в меру услужливая память тотчас же на короткое мгновение подсказала, как он лет двенадцать назад, еще будучи в институте, на вечеринке у однокурсницы едва не задушил оскорбившего его товарища. Тогда он разжал руки уже в беспомощности, только после того, как сзади нанесли ему сильнейший удар по голове увесистой табуреткой... И вновь встало перед глазами красивое лицо Овражного, его неуверенная, блуждающая улыбка...

Николай ощутил легкую тошноту, стянул с головы фуражку. Руки его стали влажными от пота.

С той поры он старательно избегал встреч с Овражным. Не надо было искушать судьбу. Нельзя было играть чужой и своей жизнью...

А неопределенность в семье словно бы прижилась и пустила корни. И только в первых числах июня невеселую эту жизнь встряхнула неожиданно полученная из Кисловодска телеграмма от старшего брата Николая. Ее вручили Стрельцову в конторе МТС утром. «Второго поездом двадцать два вагон семь буду станции встречай обнимаю Александр».

Не в силах сдержать радостной улыбки, Стрельцов несколько торопливее, чем обычно, вошел в кабинет директора, тихонько положил на стол телеграмму.



— Жду гостя, Иван Степаныч!

Из-под очков в металлической оправе директор удивленно взглянул на Николая.

— Неужели братец едет?

— Он самый.

— Так ведь у него же путевка вроде до половины июня?

Все так же улыбаясь, Николай развел руками:

— Похоже, что не выдержал режима, удрал до срока. Там в новину не очень-то приятно; а он, насколько я помню, на курорте впервые. Он всегда предпочитал вольный отдых, охоту, рыбалку.

Директор еще раз прочитал телеграмму, сунул очки в грудной карман старенького парусинового пиджака, удовлетворенно сказал:

— Ну, что же, молодец твой брат, Микола. Он правильно рассудил. У нас он и отдохнет лучше и сердце тишиной подлечит. На нашем степном полынном воздухе, я так разумею, не только сердце, но и всякую другую хворость с успехом можно лечить. Где-то я читал, что даже граф Толстой к башкирам ездил, воздухом лечился и кумыс пил. Ну, насчет кумыса это еще как сказать... Пил я его в гражданскую войну у калмыков и так определил: решительно от него никакой пользы русскому человеку не может быть! Одна отрыжка в нос и в животе бурчание, а пользы ни на грош! Пил я из любопытства и парное кобылье молоко. Ты никогда не пробовал, Микола? Нет? И не пробуй. Голубенькая водичка, чуть сладит, пены много, а пользы от него или сытости тоже ничего не заметил, да и заметить невозможно, потому что ее нет.— Помолчал немного и для вящей убедительности добавил: — Конечно, одним воздухом, даже нашим, не прокормишься, но у нас вдобавок к воздуху не паршивый кумыс, а природное коровье молоко, неснятое, пятипроцентной жирности, яйца тепленькие, прямо из-под курицы, а не какие-нибудь подсохлые, плюс сало в четверть толщины, ну разные там вареники со сметаной, молодая баранина и прочее, да тут никакое сердце не выдержит и постепенно придет в норму. А если к этому добавить добрый борщ да по чарке перед обедом,

то жить твоему братцу у нас до ста лет и перед смертью не икать! Правильное решение он принял — ехать к нам! Исключительно правильное!

Столько детски-наивной, простодушной убежденности было в словах пышущего здоровьем степняка, что Николай, уже откровенно посмеиваясь, сказал:

— Я тоже так думаю, Степаныч, а как насчет машины?

— Какой может быть разговор, бери ее утром и кати на станцию встречать.

— Тебе-то самому она не понадобится?

— Я и на лошадях съезжу в случае чего, а ты бери машину. Братец-то генерал, да еще пострадавший, неудобно кое-как встречать. Скажи шоферу, пусть готовится, и езжай пораньше. Вези аккуратней, не растрясси по нашим кочковатым дорогам, человек-то больной.

— Спасибо, Степаныч!

— Еще чего не доставало. С радостью тебя, Микола!

— Еще раз спасибо. Радость, действительно, для меня большая. Девять лет не виделись.

Директор встал из-за стола.

— Я — в мастерскую, а у тебя какие планы?

— Надо предупредить своих, приготовиться к встрече. Разреши сегодня побыть дома.

— Само собой. Может, чем-нибудь помочь?

— Благодарю, все есть, управлюсь сам.

Потоптавшись около стола, директор подошел к Николаю плотную, спросил почему-то шепотом:

— Он сколько просидел, Микола?

— Без малого четыре с половиной года.

Иван Степанович горестно сморщился. Потом решительно прошагал к двери, закрыл ее на ключ, жестом пригласил Стрельцова садиться, а сам так тяжело опустился на древнее, дореволюционного изделия креслице, что оно не заскрипело, а жалобно взвыло под ним. После недолгого молчания спросил:

— Как думаешь, почему брата освободили?

Стрельцов молча пожал плечами. Вопрос застал его врасплох.

— Ну все-таки, как ты соображаешь?

— Наверное, установили в конце концов, что осудили напрасно, вот и освободили.

— Ты так думаешь?

— А как же иначе думать, Степаныч?

— А я так своим простым умом прикидываю: у товарища Сталина помаленьку глаза начинают открываться.

— Ну, знаешь ли... Что же, он с закрытыми глазами страной правит?

— Похоже на то. Не все время, а с тридцать седьмого года.

— Степаныч! Побойся ты бога! Что мы с тобою видим из нашей МТС? Нам ли судить о таких делах? По-твоему, Сталин пять лет жил слепой и вдруг прозрел?

— Бывает и такое в жизни...

— Я в чудеса не верю.

— Я тоже в них не верю, но как-то надо нам объяснить этот случай с твоим братом? Раскусил же товарищ Сталин Ежова? А почему ты знаешь, может, он и Берию начинает помаленьку разгрызать?

— Пойдем, я провожу тебя до мастерской. Не люблю по-твоему разговаривать: то ты шепчешь, то переходишь на крик... Давай по пути в мастерскую кончим наш разговор.

— Плохой из меня конспиратор?

— Ни к черту! Нервный ты очень.

Директор, кряхтя, держась за поясницу, с трудом поднялся. К двери он шел, слегка прихрамывая, негодуя бормоча:

— Наука гласит, что радикулит от простуды. Чепуха, а не наука! Тоже мне медики! Я вот как разволнуюсь, так он, этот треклятый радикулит, сразу в поясницу возле крестца вступает. Хоть стой, хоть падай. У меня на медицину свой взгляд, и пусть они мне голову не морочат. У меня все это имущество еще с гражданской войны развинтилось...

Они молча прошагали безлюдным коридором, через черный ход вышли на пустынный хозяйственный двор. По просторному

двору, огороженному посереvшим штакетником, по раздавленной гусеницами тракторов присохшей траве потерянно бродил ветер. Он все время менял направление: то тихо веял с запада, то заходил с юга и тогда становился почему-то напористее, сильнее. С утра было прохладно. По блекло-синему небу одиношенька плыла своим путем белая, как кипень, тучка. Из широко распахнутых ворот мастерской доносился шумок токарного станка. В кузнице стоял певучий перезвон молотков, подержанный астматическим дыханием меха, и тут же, за штакетником, в густой заросли дикой конопли, словно подлаживаясь к звону молотков, яростно, неустанно бил перепел.

Посреди двора, возле колодца, Иван Степанович остановился. Они, не сговариваясь, присели на низкий колодезный сруб.

— Думаю,— сказал Иван Степанович,— что твой братец поначалу будет людей избегать, но это у него пройдет, утрясется.

— Александр — общительный парень. Во всяком случае, был таким,— раздумчиво проговорил Стрельцов.

— В том-то и дело, «был». А вот каким стал? И это увидим. Все дело в том — одного ли его выпустили? Уж он-то наверняка знает. Вот почему, Микола, приезд твоего брата и для меня праздник. Может, следом за ним и другие, кто зазря страдает, на волю выйдут, а? Что ты на этот счет думаешь, Микола?

— Я бы хотел знать, а не строить догадки...

— Вот именно, знать. Не может же быть, чтобы одного его выпустили.

— А почему бы и нет? Возможно, и одного. Степаныч, пождем приезда Александра. Ничего мы с тобой не знаем, и нечего нам впустую гадать.

Иван Степанович по-женски всплеснул куцыми сильными руками.

— Как это нечего? Да у меня, пока я твоего братца дождусь, голова от думок треснет! У меня вот уже сию минуту начинают нервы расшатываться и радикулит стреляет в поясницу. Еще не известно, как я с этого сруба встану, может, на карачках придется до мастерской ползти... Ты, как только отдохнет брат, сразу разузнавай у него, что и как. Он в Москве

был, он должен знать, что там, в верхах, думают. Походи возле него на цыпочках, осторожноенько, с подходцем, а все, как есть, разузнай и выведай.

Стрельцов просительно сказал:

— Не сразу. Дай ему отдышаться. Понимаешь, Степаныч, ему больно будет обо всем этом говорить. Тут нужен такт, осторожность нужна...

— Ну, брат, ты меня убил с ходу! «Такт, осторожность, ему больно будет»... А мне и другим не больно правды не знать? Братец ты мой, Микола!

— Все это понятно!

— Ничего тебе не понятно! Ты меня весной как-то на собрании принародно попрекнул, что вот, мол, Иван Степанович трусоват, он, мол, робкого десятка, и пережога горючего боится, и начальства побаивается, и всего-то он опасается... Может, ты и прав: трусоват стал за последние годы. А в восемнадцатом году не трусил принимать бой с белыми, имея в магазинной коробке винта одну-единственную обойму патронов! Не робел на деникинских добровольческих офицеров в атаку ходить. Ничего не боялся в тех святых для сердца годах! А теперь пережога горючего боюсь, этого лодыря Ваньку-слесаря праведно обматить боюсь, перед начальством трепетаю... Пугливый стал! Но это одесская шпана сделала смешными наши слова: «За что боролись!» Я знаю, за что я боролся! Встречусь я с твоим братом, так я с ним не о природе и не о наших задачах по сельскому хозяйству буду говорить. Никаких тактов мне не надо, будь они трижды прокляты, мне надо знать, что в Москве происходит, что там, в верхах, думают и чем дышат. Неужели в войну с фашистами влезем, а до этого в доме своем порядка не наведем? Но ты сам оглядись возле братана, а мне потом подкажешь. Тебе, конечно, с родственного бугра виднее.

Иван Степанович со сдержанным рычанием поднялся, долго тер кулаком поясницу, на прощание сказал:

— Разволновался я с тобой окончательно, раскачал нервишки, а теперь этот треклятый радикулит меня прижмет по всем правилам военного искусства. Ехать надо в колхоз имени Бе-

рия, а как я поеду? Стыдно, но придется у жены какую-нибудь завалящую подушку просить, под сахарницу подкладывать, иначе не усiju на дрожках.— И тяжело вздохнул: — А ведь воякой был, да еще каким лихим, голыми руками меня не бери, обожгешься! Господи-боже мой, и на что этот колхоз именем Берия назвали? Ну, кому это нужно, и какой тихий дурень это название придумал? Главное, для чего? Нервы расшатывать тем, кто ни за что, ни про что в его хозяйство попадал? И колхоз хороший, и люди там добрые трудяги, а едешь туда, и от одного названия тебя мутить начинает хуже, чем с похмелья... Мастера мы всякие крендели выкручивать, ох, мастера, язви его в печенку! Ну, я пошел, Микола! Жду от тебя весточки.

\*   \*  
\*   \*

Николай Стрельцов приехал на станцию за час до прихода поезда. Было около девяти утра. Недавно прошел легкий дождь, и на путях пахло не так, как обычно: не только дымом от паровозных топок, мазутом и размытым угольным шлаком, но и каким-то домашним, земным запахом прибитой дождем пыли, смоченной травы, а от сложенных возле красного пакгауза огромных штабелей свежих досок так головокружительно нанесло вдруг сосной, смолистым духом подпаренной древесины, что Николаю на миг почудилось, будто идет он по сосновому бору в знойный полдень, а шипение маневрового паровоза зазвучало, как шум вековых мачтовых сосен. Николай на минуту остановился и даже глаза закрыл, с наслаждением вдыхая запах сосны, тихо улыбаясь далекому детству, неотвязным воспоминаниям. Ведь как-никак, а родился он и до восьми лет прожил на лесном кордоне в далекой Вологодской губернии. И вот оказывается, что даже четверть века, долгие годы жизни на степных просторах юга России не могли выветрить цепкой привязанности к аромату леса, к бодрящему и милому запаху сосны... «Странно устроен человек», — подумал Николай, взбираясь на платформу и еще раз оглядываясь на бледно-золотые

штабеля досок по ту сторону путей. Сейчас на них светило выглянувшее из-за тучи солнце, и верхние, потемневшие от непогоды, шероховатые доски курились легким паром, источая устойчивый, далеко расплывающийся запах смолы, уютный запах будущих хозяйственных построек, оседлой жизни.

Накануне вечером Николай, постучавшись, зашел к Ольге в спальню. Она убирала волосы перед сном, стояла спиной к двери. Николай как-то сразу увидел ее слегка похудевшую шею, резко затененные трогательные впадины возле крохотных ушей. Тщетно стараясь подавить непрощенное чувство жалости, он очень тихо сказал:

— Я хочу просить тебя, Ольга, об одном: приедет Александр, и ты сделай все, чтобы он не заметил... не заметил, что между нами...

Она стремительно повернулась к нему лицом. Страдальческая улыбка тронула ее губы. Снизу вверх она испуганно взглянула на Николая, прошептала:

— Я постараюсь, Коля, вот как только ты... сумеешь ли ты сдержаться?

Николай кивнул головой, вышел, тихо притворил за собой дверь.

А теперь он ходил по безлюдной платформе, курил, вспоминал вчерашний разговор с женой, ее вымученную, жалкую улыбку и, стискивая зубы, чувствовал, как сердце его разрывается от жалости к прежней Ольге, от огромной человеческой боли...

С тяжким, давящим грохотом прошел товарный состав, влекомый паровозом ФД. На платформе долго еще стоял маслянистый жар, оставленный мощным телом паровоза. Потом показался скорый.

На этой маленькой станции сошло всего лишь несколько пассажиров.

Николай торопливо шел от конца платформы. Возле седьмого вагона стоял человек среднего роста, с широкими прямыми плечами. Он высоко поднял над головой темно-синюю фетровую

шляпу. Худое, бледное лицо его морщинилось улыбкой, и, как кусочек первого ноябрьского льда, сияли из-под белесых бровей ярко-синие, выпуклые, влажные глаза.

Николай шел размашистым шагом, а потом не выдержал и побежал, как мальчишка, широко раскинув для объятия руки.

\* \* \*

С приходом гостя за каких-нибудь два дня круто изменилась жизнь в семье Стрельцовых. Ольга заметно оживилась, повеселела, почти не выходила из дома, с прежним рвением помогая Серафиме Петровне в стряпне и других хозяйственных хлопотах. Даже к маленькому Коле вернулась временно утраченная детскость: два дня он не отходил от дяди Саши, неотступно сопровождая его в прогулках по Сухому Логу, по вечерам не ложился спать до тех пор, пока не выслушивал очередной, приспособленный к его восприятию рассказ бывшего дяди Саши о гражданской войне, слушал, не сводя зачарованных глаз с лица рассказчика, а потом долго лежал в кровати, с широко раскрытыми глазами и счастливой мечтательной улыбкой. На вторую ночь перед сном он забрался в кровать к Серафиме Петровне, жарко зашептал ей на ухо:

— Бабуля, дядя Саша, между прочим, говорил сегодня, что полководец Жлоба был рябой. Разве настоящий полководец может быть рябой?

От природы смешливая, всегда готовая улыбнуться веселому, Серафима Петровна затряслась от сдерживаемого смеха.

— Ох, Коленька! Ну, почему же не может? Рябыми все могут быть, никому не заказано.

— А я думал, что рябые только разбойники бывают,— разочарованно протянул Коля и побрел к своей кроватке, осмысливая новое для него открытие в жизни.

Через минуту он обиженно проговорил:

— И нечего смеяться, и не трясись, пожалуйста, под своим одеялом. Ты койку трясешь, а я уснуть не могу. Ты вздорная женщина!



— О господи! Это еще откуда ты взял? — задыхаясь, спросила Серафима Петровна.

— Мы вчера шли с дядей Сашей в мастерскую, а какая-то женщина ругала соседку неприличными словами. Дядя Саша мне сказал: «Не слушай ее, она вздорная женщина». Вот и ты такая же вздорная.

— Но ведь я же не ругаюсь, Коленька?

— Зато смеешься ночью, когда никто не смеется, и заснуть мне не даешь. Вздорная ты, бабуля! — И уже полусонным голосом продолжал, медленно и вяло выговаривая слова: — А рябые — все разбойники, я точно знаю. Вот дядя Василий, плотник, ты знаешь, он тоже рябой. Я у него спросил, когда он в школе забор чинил: «Дядя Вася, вы, когда были молодым, вы были разбойником?» Он говорит: «Еще каким! Особенно по женской части». Я у него спросил: «Это как «по женской части»?» А он говорит: «Женские монастыри грабил, монашек разорял». И больше ничего не сказал, только усы разглаживал и смеялся глазами, потом набрал в рот гвоздей и совсем перестал со мной разговаривать, начал доски прибивать. За два раза гвоздь по самую шляпку забивал, вот как! Он хотя и был разбойником, но хороший дядька. Он всегда глазами смеется и никогда не ругается, как ты говоришь — черным словом. Он один раз при мне очень сильно прибил палец молотком и только сказал: «Ах, мать твою бог любит!» Бабуля, это приличное ругательство или неприличное? Ты слышишь, бабуля, или ты спишь?

Серафима Петровна, не отвечая, молча уткнулась лицом в подушку, а когда вволю насмеялась, — мальчик уже тихо посапывал во сне.

Событием огромной важности для него стала поездка на автомашине в районный центр, куда дядя Саша ездил, чтобы стать на партийный учет в райкоме партии. Там, в райцентре, они на равных закусывали в столовой, причем, если дядя и шофер выпили только по одной рюмке водки, то на долю маленького Коли пришлось целая бутылка лимонада, напитка, о котором в Сухом Логу никогда и слыхом не слыхали.

Из поездки они вернулись закадычными друзьями. Мальчишеская любовь и привязанность были без особых стараний надежно завоеваны добродушным и веселым дядей. И когда за ужином Коля сказал: «Я думаю, дядя Саша, переселиться от бабушки к тебе. Ты все-таки мужчина, мне с тобой, пожалуй, будет удобнее спать»,— Ольга вспыхнула, в ужасе воскликнула: «Коля! Да как же ты смеешь обращаться к дяде на «ты»? Сейчас же извинись, негодный мальчишка!» Но Александр Михайлович немедленно пришел на выручку своему другу: «Что вы, Олечка, мы перешли с ним на «ты» по обоюдному согласию. Нам в постоянном общении так проще».

Ничего не скажешь, умел старый солдат — общительный и простой — подобрать ключик к каждому сердцу: Ольгу он покориł вежливой предупредительностью, немудреными комплиментами и плохо скрытым восхищением ее красотой. Она отлично видела, как он втайне любит ее, и тихонько гордилась и даже немного кокетничала с ним, так, самую малость, в пределах родственных отношений. Серафима Петровна, сраженная простотою и офицерской услужливостью гостя, была прямо-таки потрясена, когда он обнаружил в передней под вешалкой ее разорванную туфлю и так искусно зашил, что впору бы и самому хорошему мастеру обувного цеха. Для этого маленький Коля раздобыл у соседа-сапожника шило и тонкую дратву, а починку они произвели, скрываясь ото всех на конюшне.

Николай только улыбался про себя, глядя на то, как брат преуспевает и с диковинной быстротой становится в доме своим человеком.

— Где ты, Саша, выучился сапожному мастерству? — спросил он, разглядывая тещину туфлю.

— В лагере, — коротко ответил Александр. — В Академии имени Фрунзе нас этому не обучали, а вот в другой академии за четыре года я многое постиг: могу сапожничать, класть печи, с грехом пополам плотничаю. Нет худа без добра, браток! Только тяжело доставалась эта наука в тамошних условиях...

В комнату вошла Серафима Петровна, и разговор прервался.

В субботу рано утром Александр Михайлович и маленький Коля ушли на речку с удочками. Через два часа они вернулись, торжествующие, гордые успехом, потребовали у Серафимы Петровны большую эмалированную чашку и молча, с истинно рыбацким достоинством высыпали из садка груды живых, трепещущих пескарей.

— Любезная Серафима Петровна! Здесь этих милых рыбок ровным счетом шестьдесят три штуки. Если их почистить, зажарить на сковороде, на коровьем топленом масле, чтобы они прожарились до хруста, а затем залить их десятком яиц,— то лучшего завтрака не придумаешь! Это мечта всех порядочных рыболовов! — сказал Александр Михайлович.

В конце завтрака, когда маленький Коля незаметно улизнул из-за стола, Александр Михайлович долго смотрел на Серафиму Петровну смеющимися глазами, постукивал по столу пальцами, озорно улыбался.

— Чему это вы, Александр Михайлович, посмеиваетесь? — невольно краснея, спросила Серафима Петровна.

— Я не посмеиваюсь, а просто счастливо и, может быть, немножко глупо улыбаюсь, глядя на вас. И думаю: до чего же вы смолоду были, очевидно, победительной женщиной! На вас и сейчас-то не налюбуеться, а что же было лет двадцать назад? Мужчины, наверное, падали навзничь?

— Смолоду и вы, Александр Михайлович, были, наверное, хват-парень...

— Не пришлось, матушка, побыть хватом, не успел, война все скушала!

— Так уж и все?

— Вчистую! Помилуйте, двадцати лет пошел в царскую армию, четыре года мировой войны, потом — гражданская война, потом всякие банды и бандочки, потом женился. Когда же мне было проявлять свою прыть? Вот вы — другое дело. Вы рано овдовели...

— Двадцати одного года.

— В двадцать один год и вольная казачка!

— Хороша вольная! А двое малых детей на руках осталось, это как? Какая уж там вольная! Скорее подневольная.

— В каком году вы овдовели?

— В восемнадцатом.

— Боже мой, как же я вас не встретил в те баснословные года? А ведь я с полком проходил через ваш Мариуполь.

— Значит, не судьба,— притворно вздохнула Серафима Петровна. И молодо рассмеялась: — А если бы и встретили, что толку?

Александр Михайлович в наигранном удивлении поднял белеющие брови:

— Как это что толку? Встретил бы и покорил.

— Так уж и покорили бы?

— Как бог свят! Накинул бы на вас бурку, сказал «моя!» — и баста!

— Самонадеянностью вас бог не обидел, а ведь я тогда проворная была, так бы из-под вашей бурки и выскользнула!

— Извините, Серафима Петровна, не так бы я ее накинул, чтобы вы соизволили выскользнуть. Ведь тогда я был огонь-парень. Это теперь головешкой от костра стал... Представьте на минутку двадцатичетырехлетнего командира полка: сапоги с маленькими офицерскими шпорами, с малиновым звоном, красные суконные галифе, кожаная куртка, слева — шашка с серебряным темляком, справа, наперекрест — маузер на ремне, в деревянной колодке, папаха слегка заломлена, в глазах — синий пламень... Блеск! Неотразимость! И никакой пощады прекрасному полу! Пройдешься по улице таким чертом, в кавалерийскую развалочку, и встречные барышни — глазки долу, из боязни опалить их, и только нежные вздохи несутся тебе вослед... А некоторые того...

— Что это означает «того»? — Серафима Петровна, облокотившись о стол, смотрела на собеседника мокрыми от смеха глазами, полные румяные губы ее дрожали в неудержимой улыбке.

— То есть как это что означает? Полуобморочное состояние, вот что! А в отдельных, особенно тяжелых случаях шок, ни

больше и ни меньше. Мы в то время шутить не умели, дорогая Серафима Петровна! Я вот и теперь иногда встречаю женщин моего возраста и моложе с невыплаканной печалью во взоре и невольно думаю: «Вот и еще одна жертва гражданской войны и собственной неосторожности. В молодости посмотрела пристально, чересчур пристально на такого молодца, каким, скажем, был я, и, пожалуйста, готова,— сердце разбито навеки и вдребезги!» Все это даром для вашего брата — женщин не проходит, нет, не проходит. Так как же вы смогли бы уцелеть, если бы встретились тогда со мною?!

— Хотя я и неверующая, но думаю, что не иначе святая Варвара — покровительница слабых женщин — уберегла меня. Не встретишься же, вот и уцелела!

— И зачем этой Варваре нужно было путаться в наши дела? Кто ее просил? Ох, уж эти мне женщины, хотя бы и святые! Из-за нее, оказывается, все и пропало!

Александр Михайлович сжал лысеющую голову обеими руками, стал горестно раскачиваться, восклицая в нарочитом отчаянии:

— Все погибло, и Варвара всему виной! Никакая она не святая, а типичная разрушительница чужого счастья и к тому же завистница! Боже, как мелки в своих чувствах женщины, даже святые!

— Александр Михайлович, миленький, перестаньте! Я больше не могу! — задыхаясь от смеха, плачущим голосом просила Серафима Петровна.

Ольга, тихо улыбаясь, вслушивалась в игривый разговор разошедшихся стариков, а Николай тем временем в коридоре приглушенно говорил в телефонную трубку:

— ...молчит... Пока ничего не было, Степаныч... Я тоже так думаю. Ну, подожди. Немедленно расскажу. Ну, будь здоров.

Женщины ушли управляться по хозяйству, а братья все еще сидели за столом, пили крепчайшей заварки чай, по-старинному, вприкуску, обливаясь потом, вели неторопливый разговор.

В распахнутые окна дул теплый ветер. Он парусил, качал тюлевые занавеси, нес в комнату оставшийся еще с ночи тонкий

смешанный запах петуний, медуницы и ночной фиалки, росших под окном, и грубоватую горечь разомлевшей под солнцем полыни со степного выгона, подступившего к самому двору. Где-то под потолком на одной ноте басовито гудел залетевший шмель. Тоненько и печально поскрипывали оконные ставни.

Александр Михайлович, перед тем как встать из-за стола, долго и молча смотрел на Николая затуманившимися глазами, потом тихо проговорил:

— Смотрю на тебя, Коля, и диву даюсь: до чего же ты похож на маму! Та же улыбка, та же манера поводить плечами и вздергивать голову, когда тебе противоречат, тот же рисунок бровей, глаза... Только вот глаза у тебя изменились, погрустнели как-то твои черные — мамины — глаза... Взрослеешь, что ли?

— Пора. Расколот уже четвертый десяток и не заметил как... Совсем не заметил, Саша! Годы — все мимо, как во сне!

Николай отвернулся к окну и — то ли от мягкого, душевно-го тона, каким были сказаны слова старшего брата, то ли от внезапно резнувшего сердце воспоминания о покойной матери — вдруг почувствовал, как когда-то в детстве, нестерпимую жалость к себе. И оттого ли, что действительно уже ушла за далекий степной горизонт, потонула в голубой дымке молодость, оттого ли, что непоправимо рушилась семейная жизнь, — это короткое, как ожог, чувство боли было так остро, что Николай ощутил на глазах жаркие слезы и, устыдившись их, устыдившись своей детской чувствительности, бодро сказал, все же не поворачивая от окна головы.

— Хватит о невеселом! В такое утро о грустном не говорят. А ты знаешь, как раз накануне твоего приезда была девятая годовщина маминой смерти... Ну, и хватит!

Заметив его волнение, спохватился и Александр Михайлович:

— А и правда, братик, не ко времени затеял я этот разговор. Но ведь, черт их дери, эти воспоминания, они приходят, не считаясь с твоим настроением, в любое время суток, как зубная боль. Что же ты не сказал насчет годовщины, когда я приехал? Ну, понимаю, хватит. Слушай, Коля, а не закатиться ли нам сегодня на серьезную рыбалку? Что-то пескари меня

вздразнили. Ты говорил, что где-то километрах в десяти есть глубокий омут. Может, туда махнем с ночевкой? Нам бы хоть десятка два окуней наловить и ушицы сварить на берегу... Как ты на это смотришь, Коля?

— А я так смотрю: до двенадцати — сборы, затем запрягаю в дрожки Воронка — и айда.

— Это мне нравится! Чем я могу тебе помочь?

— Единственно тем, что не будешь мешать мне собираться.

— Это мне еще больше нравится. Не забудь, подкинь мне какие-нибудь свои старенькие штаны. Не в костюме же ехать на рыбалку.

— Будет исполнено. Да! Разыщи Николашку, и наройте с ним навозных червей. Он знает, где их добыть. И, пожалуйста, не потакай ему во всем, его с собой не возьмем, ночью комары его там заедят.

— Коля, червей мы нароем и парня отговорим от поездки, но зачем отправляться в самую жарницу?

— Ухи хочешь? Ну, так надо ехать пораньше, чтобы сварить рыбу засветло и не возиться с ней в потемках.

— Резонно. Едем, невзирая на жару. Ради ухи из окуней согласен на любую жертву. Нам их и надо всего лишь десяток изловить. Неужто не осилим эту задачу? Пообещай мне тарелку хорошей ухи, и я пешком уйду!

К двум часам пополудни они были уже у реки. Николай выпряг и стреножил Воронка, уложил в кошму все рыбацкое имущество, предложил:

— Пойдем, посмотришь на плес. Называется он Пахомова яма. Старик Пахом когда-то, при царе Горохе, утонул тут, в память этого события и яму назвали его именем. Плес тебе понравится, уверен.

Увязая по щиколотку в сыпучем песке, с трудом продираясь сквозь заросли кустов белотала-перестарка, они спустились по пологому откосу к неширокой песчаной косе.

Перед ними лежала, словно в огромной, врезанной в землю раковине, зеркальная водная гладь метров шестидесяти шириной. Противоположный берег плеса был обрывист, крут, по вер-

ху его вплотную к самому обрыву подступал старый, не тронутый ни порубкой, ни прочисткой смешанный лес: невысокие, но кряжистые, в два-три обхвата, дубы, карагачи, вязы попеременно с дикими яблонями, вербы, тополя и осины,— все это буйное смешение лиственных деревьев с густейшим подлеском зубчатой грядой тянулось вверх и вниз по течению реки, а вдали, на границе с холмистой степью, высоко взметнув вершины, ловя верховый ветер, величаво высились осокори и ясени с могучими, похожими на мраморные колонны бледно-зелеными стволами.

Прямо напротив спуска к реке лес разделялся широкой прогалиной. Посредине одиноко красовался древний вяз с такой раскидистой кроной, что в тени ее свободно разместились отара — голов в триста — овец. Угнетенные послеполуденным зноем, овцы, разделившись на несколько гуртов, теснились вкруговую, головами внутрь, изредка переступая задними ногами, глухо пофыркивая. Даже на этой стороне был ощутим резкий запах овечьего тырла.

Неподалеку от вяза, на солнцепеке, опершись обеими руками на костыль, недвижно стоял седобородый пастух — старик, с головою, повязанной выгоревшей красной тряпичей, в грязных холщовых портах, в длинной до колен, низко подпоясанной рубахе.

Что-то древнее, библейское было в этой живописной картине: вяз патриаршего возраста, старик пастух с овцами, не тронутый человеческою рукою первобытный лес и дремучая тишина, изредка прерываемая посвистом иволги да воркованием горлинки,— все это как бы сошло с полотна старинного художника и воплотилось в жизнь, озвученную и неповторимо красочную.

Взглянув на Николая блестящими глазами, Александр Михайлович прошептал:

— Коля, да ведь это — как в сказке! Черт возьми, никогда не думал увидеть такое...

— Хорошее место,— просто сказал Николай.— Давай сносить к воде пожитки, рыбалить и ночевать будем на той стороне.



— А где же лодка?

— Затоплена, сейчас пригоню ее. Не разувайся, песок очень горячий, не выдержишь.

— Да что ты, брат, по такому девственному песку, где нога человечья еще не ступала, и в обуви? Не могу, это — кощунство!

Он присел на песок, проворно стащил полуботинки, носки, с наслаждением пошевелил пальцами. Потом, после некоторого колебания, снял штаны. Иссиня-бледные, дряблые икры у него были покрыты неровными темными пятнами. Заметив взгляд Николая, Александр Михайлович сощурился:

— Думаешь, картечью посечены? Нет, тут без героики. Эту красоту заработал на лесозаготовках. Простудил ноги, обувка-то в лагерях та самая... Пошли нарывы. Чуть не подох. Да не от болячек, а от недоедания. Давно известно, «кто не работает, тот не ест», вернее, тому уменьшают пайку, и без того малую. А как работать, когда на ноги не ступишь? Товарищи подкармливали. Вот где познаешь на опыте, как и при всякой беде, сколь велика сила товарищества! А нарывы, как думаешь, чем вылечил? Втирал табачную золу. Более действенного лекарства там не имелось. Ну, и обошлось, только до колен стал как леопард, а выше — ничего от хищника, скорее наоборот: полный вегетарианец. Надеюсь, временно...

Опираясь обеими ладонями на песок, слегка откинувшись назад, Александр Михайлович смотрел на Николая снизу вверх, улыбался. И так не вязалась его простодушно детская улыбка с грубоватым юмором, что Николай только головой покачал.

— До чего же неистребим ты, Александр! Я бы так не мог...

— Порода такая и натура русская. Притом — старый солдат. Кровь из носа, а смейся! Впрочем, Коля-Николай, и ты бы смог! Нужда бы заставила. Говорят же, что не от великого веселья, а от нужды пляшет карась на горячей сковороде... Ну, нечего дорогое время терять, пошли, а то и на уху не наловим. Нет, это невозможно! Такой плес, и чтобы без ухи остались? Пошли. Хоть мелочишки бы наскрести на ушицу, хоть на самую скуд-

ную! Нам пяток окуньков, и хватит. Я, братец, десять лет настоящей ухи не хлебал.

— На добрую уху ты один должен наловить.

— А ты где же будешь? В свидетелях?

— Мне надо заготовить дровишек на ночь, стан оборудовать, словом я — по хозяйственной части, а ты — обеспечиваешь рыбой. У тебя три часа времени, уху надо сварить засветло, так что все от твоего старания зависит...

— Коля, один я не смогу, — умоляюще проговорил Александр Михайлович. — Ради бога, давай вдвоем ловить, иначе останемся на одном чаю. Я не могу ручаться за успех, а ты опытный рыбак. Нет, только вдвоем! И потом мы не можем так безрассудно рисковать. Я видел, как Серафима Петровна положила в корзинку хлеб, картошку, укроп, лук репчатый и зеленый, даже пол-литра водки она, добрая душа, выдала нам. Не хватает для ухи сущего пустяка — рыбы, и вдруг ты все подвергаешь ненужному, глупому риску. Я же один ни черта не поймаю!

Николай был непреклонен:

— Хочешь ухи — добывай рыбу. У меня без этого забот хватает. Надо еще к завтрашней заре ракушек-перловиц с ведро натаскать.

— А это для чего?

— Для сазанов.

— Коля, это — эфемерная штука, сазаны. Их может не быть, а без ухи мы быть не можем. На кой черт нам журавль в небе, если нужна синица, а она почти в руках.

— Вот и бери ее, эту синицу. И вообще не хнычь. Генерал, а хнычешь. Должен наловить — значит, лови. Рыбы тут, как в садке, а ты ноешь. Переедем на ту сторону, и я поймаю тебе штук десять верховочек. Режь каждую на три части, окунь охотнее берется на головку и хвостик. Целиком рыбку не насаживай, приманишь щуку, и — прощай, крючок! Глубина там с лодки — четыре маховых, то есть шесть метров. Неподалеку, чуть подальше заброса, — карша, огромный вяз. Он весь под водой. Пристанище окуней. Забрасывать будешь так: излишек леси —

удилище-то трехметровое — соберешь в левую руку кругами, правой — от себя, снизу вверх бросок, и леса несет насадку на всю длину. Грузило, ты увидишь, небольшая картечина, сигарообразная форма придана ему для того, чтобы не блокало при забросе.

— Это наставление надолго? — нетерпеливо спросил Александр Михайлович.

Но Николай, не обращая внимания на вопрос, продолжал:

— Да к тому же легкое грузило не увлечет за собой леску. Клев определишь по кончику удилища. Поплавков не положено, будут мешать при закидывании. Вот тебе перочинный нож резать верховку, он же пригодится в случае заглота наживки. Ну, а теперь — за дело. Что касается наставления — извини, но без него ты и леску не сумеешь забросить. Знаю я этих городских рыбаков-дилетантов!

На той стороне плеса Николай вырыл веслом в песке углубление под обрывом, вытащил нос лодки так, что корма низко осела, сказал:

— Ни жучка тебе, ни чешуйки! Подложи вот этот брезентовый плащ на корму, чтобы удилища не стучали, когда будешь класть их. Подержи предварительно в воде минут пять, чтобы замekli. Гибь у них появится отличная! Позднее я приду тебя проведать. Садок привяжешь к гвоздю. Он вбит справа по борту.

Два раза леса в руках Александра Михайловича при закидывании завязывалась замысловатыми узлами. Шепотом чертыхаясь, он подолгу возился с распутыванием, наконец, на третий раз, леса вытянулась, тихо чмокнуло удлиненное грузило, гибкий кончик березового удилища согнулся и выпрямился, — грузило легло на дно.

Жара не спадала. Из-под полей старенькой соломенной шляпы по лбу и шее Александра Михайловича беспрерывно катился пот. Капельки его щекотали раковины ушей, холодили под рубашкой спину, но упрямый рыбак только головой встряхивал, а правой руки с комля удилища не снимал.

Не было ни малейшего дуновения ветерка. Редкие тучки еле двигались в накаленной бледной синеве небес. Зеленоватая во-

да казалась густой, как подсолнечное масло, лишь медленно проплывавшие по ее поверхности соринки указывали на слабенькое течение. Пряно пахло нагретыми водорослями, тиной, прибрежной сыростью.

Вторую удочку Александр Михайлович разматывать не стал, чтобы не рассеивалось внимание. Клева не было. Уже третью папиросу выкурил рыбак, уже несколько раз отчаяние сменялось у него надеждой, а надежда снова покорялась отчаянием. Кончик удилица был так мертво недвижим, что зеленые и желтые стрекозы безбоязненно присаживались на него отдохнуть. Глухая тишина не нарушалась, а как бы подчеркивалась монотонным напевом удода, далеким и горестным голосом кукушки. Время шло, и сладостная дрема стала одолевать Александра Михайловича. Он уже хотел было махнуть рукой на ловлю, растянуться на носу лодки и уснуть, но тут кончик удилица резко качнулся, а затем, судорожно содрогаясь, зарылся в воду. Александр Михайлович вскочил так порывисто, что едва не зачерпнул в лодку воды. На конце лесы тугими толчками рвалась в глубину крупная рыба. Легкое удилице согнулось вдвое. Кое-как дотянувшись до лесы рукой, Александр Михайлович бросил удилице в лодку и уже пальцами и всей рукой остро почувствовал бурное сопротивление добычи. Крупный, около килограмма весом, окунь показал широченный полосатый бок, ушел под лодку. С усилием подтягивая лесу, донельзя взволнованный, счастливый рыбак все же вырвал его из воды. Окунь забился на влажном днище, гулко зашлепал хвостом. Осторожно придавив к спине воинственно поднятый спинной плавник, крепко стиснув возле головы еще хранящее холодок глубинных вод тело красивой, упругой рыбы, Александр Михайлович вынул из ее пасти крючок, бережно опустил окуня в плетенный из хвороста круглый садок и только тогда увидел, как мелко дрожат руки. Вытирая ладони о парусиновые штаны, дивясь своему волнению, он долго улыбался, не спешил забросить удочку, курил и все искоса поглядывал на садок, в сумеречной зеленой тьме которого кругами ходил окунь, изгибая литую толстую спину.

«Еще бы пяток таких красавцев, и уха обеспечена! Да какая уха!» — с восторгом думал Александр Михайлович, снова наживляя и забрасывая удочку.

Минут через пять кончик удилица мелко задрожал, чуть наклонился к воде. После подсечки окунишка величиной с карандашный огрызок покорно пошел к лодке. Александр Михайлович только крикнул, разочарованно глядя на жалкую поживу. Он хотел было выпустить окунька, но пришла на ум поговорка: «Ловим не на вес, а на счет» — и окунек тоже очутился в садке.

Стало прохладнее, солнце закрыла продолговатая туча. Потянул ветерок, и клев участился. Еще один крупный, на килограмм с лишним, окунь долго ходил в темной загадочной глубине, брал лесу на растяжку, упорно, сильно давил книзу, и Александр Михайлович, шепча немыслимые ругательства, все тянулся левой рукой и никак не мог захватить лесу. Окунь сорвался уже в лодке и так высоко подпрыгнул, что едва не очутился за бортом. И снова Александр Михайлович ощутил непривычную дрожь в руках и щемящее радостное волнение.

Время остановилось. Слезящимися глазами он следил за кончиком удилица. Очень хотелось курить, но некогда было достать из кармана папиросы. Шел средний окунь. Брал уверенно и жадно. После того, как сорвался первый, крупный, судя по сопротивлению, — сходы пошли один за другим. Четвертый окунь сошел с крючка, чуть не приткнувшись к борту лодки. Секунду ошалело стоял у самой поверхности воды, потом сверкнул зеленой молнией, растворился в глубине.

— Нет, без подсачка ловить — мальчишество! — вслух хрипло сказал Александр Михайлович и с досадой плюнул на то место, где только что стоял окунь.

После двухчасового воздержания с наслаждением закурил, распрямил спину. Сзади неслышно подошел к обрыву Николай, долго смотрел на брата, тихо посмеиваясь.

— Ты в этом соломенном брыле, Саша, удивительно похож на старого деда-бахчевника. И сидишь-то по-стариковски, горбишься, будто тебе все восемьдесят лет.

— Что же, я и на рыбалке должен соблюдать строевую выправку? Ты почему не спросишь, сколько я поймал? Я превзошел самого себя, если хочешь знать! Я недооценил свои способности! Изволь, любуйся.

Николай, тормозя каблуками, скатился с глинистого обрыва, ступил в лодку. В вытащенном из воды садке с влажным шуршанием затрепыхались окуни.

— На очень изрядную уху,— явно желая польстить брату, сказал он.— Сколько счетом? О, да тут два отличнейших горбача!

— Двадцать три хвоста! И несколько штук сорвалось. Почему у тебя нет подсачка для такой рыбы? Это же вопиющее безобразие! Леса длинная, приходится брать ее в руку, и сходь — один за другим.

— Я такую рыбу не ловлю, я с такой мелочью не связываюсь, а крупный черпак для сазанов есть. Не жадничай, Саша, хватит и этого улова. Сматывай удочку, и пошли варить уху. Говорил же тебе, что здесь рыбы, как в садке.

Александр Михайлович с хрустом потянулся, сказал:

— Ты не поверишь, Николай, какое наслаждение я испытал за сегодняшний день. Давно я так не радовался и не волновался! Знаешь, просидел четыре часа, не разгибаясь, а время прошло с начала клева, как четыре минуты. На какие-то часы я вернулся в детство, и какое это блаженство, если бы ты знал! Ни одной мыслишки в голове, ни проблеска воспоминаний... Ты не представляешь, как ты меня порадовал этой поездкой. Иди сюда, я тебя обниму, свирепый ты мой чеченец!

На закате солнца они плотно поужинали рыбой и превосходной ухой. Под разварного окуня Александр Михайлович выпил рюмку водки. От второй решительно отказался.

— Брат, ты меня не приневоливай. Раньше я мог много выпить и быть не очень хмельным, а теперь не то... Да у меня и без водки так хорошо на душе! Давай лучше поговорим. Надо же мне рассказать тебе мою одиссею. Налей мне чашку чаю, покрепче.

От воды потянуло сыростью. Заметно похолодало. На западе, за приречными вербами погорела заря. Синяя тьма надвигалась с востока. Лишь одинокое облачко в зените, подсвеченное снизу солнцем, сияло таким нежнейшим опаловым светом, что Николаю почему-то до боли грустно было на него смотреть.

В кустах несмело защелкал соловей. Александр Михайлович сидел возле потухшего костра, помешивал прутиком золу, искал уголек прикурить от живого огня. На минуту прислушался к затнянувшемуся соловьиному щелканью, сказал:

— Молодой, не распелся еще, не выучился как следует. — Помолчал, почмокал губами, раскуривая отсыревшую папиросу. — Вот так и вы, молодые, во всяком случае — некоторые из вас, еще не приобретете жизненного опыта, а уже беретесь судить обо всем, даже о том, чего еще как следует не осмыслили, не продумали до скрытой глубины, ну, и поете с чужого голоса, щелкаете, как вот этот соловейко, а настоящего пения не получается... Пришлось недавно мне говорить с одним таким щелкуном. Он так рассуждал: что, мол, в ваше время, в революцию, было? Все просто, до примитива: «Земля — крестьянам, фабрики — рабочим». А в жизни, в классовой борьбе, дескать, все значительно сложнее. Слов нет, жизнь — сложная штука, но этому «примитиву» — «земля — крестьянам, фабрики — рабочим» — предшествовала и вековая борьба революционеров и десятилетия огромнейшей работы нашей партии, работы, стоившей жертв, да каких жертв!

Знаешь ли, в двадцатых годах в Париже вышел многотомный труд бывшего командующего Добровольческой армией генерала Деникина. Называется он «Очерки русской смуты». Так вот, Деникин пишет, что не было у добровольцев лозунга, за которым пошли бы солдаты и прогрессивно мыслящие офицеры. А было наоборот: как только Добровольческая армия по пути на Москву вступала на территорию украинских и русских губерний, так все эти корниловцы, марковцы, дроздовцы — сынки помещиков — начинали в своих дворянских поместьях вешать и пороть шомполами мужиков за то, что те поделили помещичью землю, растащили, разобрали по рукам скот и сельскохозяйственный ин-

вентарь. Вот как на деле оборачивалась одна часть «примитива» — «земля — крестьянам»! Как только Добровольческая армия занимала промышленный центр, обиженные сынки заводчиков и владельцев шахт, те же офицеры Добровольческой армии, принимались вешать и ставить к стенке рабочих, национализировавших их предприятия. Так оборачивалась для рабочих вторая часть «примитива». Все это я не только читал, но и лично наблюдал во время гражданской войны, сражаясь с этими же добровольцами.

С какой же радости шли бы в Добровольческую армию рабочие и крестьяне? Деникинцы великолепно помогали утверждаться Советской власти! Если это свидетельствует сам Деникин, то о чем же тут говорить? Я за этот «примитив» пошел перед октябрьским переворотом, будучи на фронте председателем полкового революционного комитета. Ты тогда еще был несмышленищем.

Впрочем, еще с мальчишеских лет, еще в гимназии отравляло мне сознание этакое социальное неравенство: сытые, выхваленные сынки купцов, помещиков, прочих состоятельных и бедные, кое-как одетые, в тщательно заштопанных брючишках дети мелких чиновников, кустарей, разночинцев. Еще тогда это рвало мне сердце! Повзрослел, стал читать, задумываться, тыкался носом, как щенок возле блюдца с молоком, а тут — война. В окопах прозрел окончательно. Я ведь в армии был вольнопером и уже после окончания юнкерского стал офицером. Под конец войны я поручиком был. Но и офицерский чин не сделал меня защитником царского режима! Покорила навсегда программа большевиков, начисто отверг половинчатых эсеров, меньшевиков и прочих анархистов, и стал я, братец ты мой, ярым большевиком, бескомпромиссным, пожалуй, немного даже фанатичным. Не было, да и сейчас нет для меня святее дела нашей партии! Да разве я один из офицерского корпуса царской армии пришел к большевикам? А Брусилов, Шапошников, Каменев и многие другие, чинами пониже? Однажды в двадцатых годах Сталин присутствовал на полевых учениях нашего военного округа. Вечером зашел разговор о гражданской войне, и



один из военачальников случайно обронил такую фразу о Корнилове: «Он был субъективно честный человек». У Сталина желтые глаза сузились, как у тигра перед прыжком, но сказал он довольно сдержанно: «Субъективно честный человек тот, кто с народом, кто борется за дело народа, а Корнилов шел против народа, сражался с армией, созданной народом, какой же он честный человек?» Вот тут — весь Сталин, истина — в двух словах. Вот тут я целиком согласен с ним! Все честное из интеллигенции и даже дворянства пошло за большевиками, за народом, за Советской властью. Иного было не дано: либо — за, либо — против, а все промежуточное стиралось двумя этими жерновами. Дальнейшее ты знаешь. Стал я кадровым военным. Связал свою жизнь с Красной Армией.

И какой же народище мы вырастили за двадцать лет! Сгусток человеческой красоты! Сами росли и младших растили. Преданные партии до последнего дыхания, образованные, умелые командиры, готовые по первому зову на защиту от любого врага, в быту скромные, простые ребята, не сребролюбцы, не стяжатели, не карьеристы. У любой командирской семьи все имущество состояло из двух чемоданов. И жены подбирались, как правило, под стать мужьям. Ковров и gobеленов не наживали, в одежде — простота, им и «краснодеревщики не слали мебель на дом». Не в этом у всех нас была цель в жизни! Да разве только в армии вырос такой народище? А гражданские коммунисты, а комсомольцы? Такой непробиваемый стальной щит Родины выковали, что подумаешь бывало — и никакой черт тебе не страшен. Любому врагу и вязы свернем и хребет сломаем!

Жили мы тогда, как в сказке! Весь пыл наших сердец, весь разум, всю силу расходовали на создание армии, на укрепление могущества нашего единственно справедливого на земле строя! Мы не так уж много уделяли внимания дорогим женам и семьям, а холостые — девушкам, но, черт возьми, хватало и им от наших щедрот, и в обиде на нас они не были! Наши умницы понимали, что мы так раскрутили маховик истории, что сбавлять обороты было уже ни к чему! — Александр Ми-

хайлович помолчал, глядя на огонь, наверное, вспоминая прошлое, тихо улыбаясь воспоминаниям, потом закурил и продолжал снова. И только по тому, как глубоко он затягивался, глотая папиросный дым, видно было его скрытое волнение.— Я, Коля, никогда не устал любоваться своими людьми. Взыскивал с подчиненных со всей старорежимной строгостью, а втайне любовался ими. И молодые солдаты и те, которых призывали на территориальные сборы,— у всех у них были суворовские задатки. Старик порадовался бы, глядя на достойных потомков своих чудо-богатырей. Ей-богу, не вру, не фантазирую! Проснись Суворов да побывай на наших учениях,— он прослезился бы от умиления, а от радости выпил бы лишнюю чарку анисовки!

Я не говорю уже о комсоставе. Насмотрелся я на своих в Испании и возгордился дьявольски! Какие орлы там побывали! Возьми хоть комдива Кирилла Мерецкова, или комбрига Воронова Николая, а полковник Малиновский Родион, а полковник Батов Павел. Это же готовые полководцы, я бы сказал, экстра-класса! Троценко Ефим, Шумилов Михаил, Дмитриев Михаил тоже ребята — дай бог! Не уступят в хватке, в знаниях, в волевых качествах! Даже те, кто помоложе, и те были на великолепном уровне, такие, как старший лейтенант Лященко Николай или лейтенант Родимцев Саша,— это, будь спокоен, завтрашние полководцы без скидки на бедность и происхождение. А вообще всем им — цены нет! Кстати, Родимцев, будучи командиром взвода, выбивал из пулемета на мишени свое имя и фамилию. Не хотел бы я побывать под огнем пулемета, за которым прилег Родимцев... А посмотреть — муху не обидит, милый, скромный парень, каких много на родной Руси. Да что там говорить. И в гости ездили отличнейшие ребята, да и дома их оставалось предостаточно, на случай, если пришлось бы встречать незваных гостей... Ты помнишь, у Пушкина есть великолепная характеристика Мазепы, его любви к Марии? — Александр Михайлович, сидевший возле костра по-казахски, ноги калачиком, встал на колени и со старомодной дикцией, без излишней патетики, прочитал на память:

Мгновенно сердце молодое  
Горит и гаснет. В нем любовь  
Проходит и приходит вновь,  
В нем чувство каждый день иное:  
Не столь послушно, не слегка,  
Не столь мгновенными страстями  
Пылает сердце старика,  
Окаменелое годами.  
Упорно, медленно оно  
В огне страстей раскалено;  
Но поздний жар уж не остынет  
И с жизнью лишь его покинет.

Если для нас, стариков, заменить кое-что, то есть вместо некоей Марии поставить идею, нашу, большевистскую идею, то это нам придется в самую пору! С той только разницей, что и смолodu мы были покорены этой единой страстью и остались верны ей до старости. Как это у него? «Но поздний жар уж не остынет и с жизнью лишь его покинет». Здорово сказано! Да, браток, когда перевалит на пятый десяток, и Пушкина иначе воспринимаешь. Русский человек, читая Пушкина, непременно слезу уронит, будь он даже такой солдафон, как я. В лагерях, когда не спалось, я всегда восстанавливал в памяти Пушкина, Тютчева, Лермонтова... Особенно по ночам, в бессонницу, вспоминались хорошие стихи. И душевная мука отпускала, и слезы были не такими жгучими...

Как снег на голову, свалился тридцать седьмой год. В армии многих, очень многих мы потеряли. А война с фашистами на носу... Вот что не дает покоя! Да только ли это!

Ну, и со мной случилось, как со многими: один мерзавец оклеветал десятки людей, чуть ли не всех, с кем ему пришлось общаться за двадцать лет службы, меня в том числе. И всех пересажали, на кого он сыпал показания, и жен их отправили в ссылку, и мою Аню, конечно. Ты, очевидно, слышал и о методах допросов с пристрастием, и о методах ведения следствия, и о порядках в лагерях. Слышал, надеюсь?

— Слышал.

— Этого не скроешь, и я не стану лишний раз тебя ранить, поберегу тебя, браток. Все это было. В разных местах по-разному. И не в этом дело, а в том, как такое могло случиться. Кто повинен? Я глубочайше убежден, что подавляющее большинство сидело и сидит напрасно, они — не враги. Слов нет, были среди изъятых и настоящие враги, однако их меньшинство, жалкое меньшинство! В тридцать восьмом году в Ростове на Первое мая, как только до тюрьмы долетели с демонстрации звуки «Интернационала», и в тюрьме подхватили и запели «Интернационал». И как пели! Ничего подобного я никогда не слышал в жизни, и не дай бог еще раз услышать!.. Пели со страстью, с гневом, с отчаянием! Трясли железные решетки и пели... Тюрьма дрожала от нашего гимна! Да разве враги могли так петь?! — Голос Александра Михайловича осекся, худое лицо исказилось, но глаза остались сухими, он надолго замолчал и вновь заговорил, только когда справился с волнением.— Я тебе так скажу: настоящие коммунисты и там оставались коммунистами... И я не потерял веру в свою партию и сейчас готов для нее на все! Зачеркнуть всю свою сознательную жизнь? Затаить злобу?! Не могу! На Сталина обижаюсь. Как он мог такое допустить?! Но я вступал в партию тогда, когда он был как бы в тени великой фигуры Ленина. Теперь он — признанный вождь. Он был во главе борьбы за индустрию в стране, за проведение коллективизации. Он, безусловно, крупнейшая после Ленина личность в нашей партии, и он же нанес этой партии такой тяжкий урон. Я пытаюсь объективно разобраться в нем и чувствую, что не могу. Мешает одно, мы с ним не на равных условиях: если я отношусь к нему с неприязнью, то ему на это наплевать, ему от этого ни холодно, ни жарко, а вот он отнесся ко мне неприязненно, так мне от этого было и холодно, и жарко, и еще кое-что похуже... Какая уж тут может быть объективность с моей стороны? Однако, я — не мальчик, и отличнейше понимаю, что предвзятость — плохой советчик. Во всяком случае, мне кажется, что он надолго останется неразгаданным не только для меня. Приведу тебе такой пример. В

двадцатых годах после учений в нашем военном округе, о которых я говорил, он согласился отобедать с нами. Было восемь старших военачальников. В разговоре кто-то из наших скептически отозвался об одном командире дивизии: «Он же бывший офицер царской армии». Сталин и говорит: «Ну, и что из того, что бывший офицер? Офицеры бывают разные. Под Царицыном в восемнадцатом году, возле Кривой Музги, попал к нам в плен раненый казачий офицер. Пулеметной очередью был ранен в обе ноги, в мякоть, кости не были затронуты. Мы с Ворошиловым решили с ним поговорить. Приходим. Лежит на носилках, на цементном полу. Спрашиваем: «За что вы с нами воюете?» Плюется, кричит: «С большевистскими комиссарами я не разговариваю!» Во второй раз к нему пришли. Молчит. В третий раз. Походили, привык, стали разговаривать. Ведем с ним политические беседы, разъясняем, что к чему... А теперь он у нас в больших военачальниках ходит».

В восемнадцатом году его заинтересовала судьба одного вражеского офицера, а двадцать лет спустя не интересуют судьбы тысяч коммунистов. Да что же с ним произошло? Для меня совершенно ясно одно: его дезинформировали, его страшнейшим образом вводили в заблуждение, попросту мистифицировали те, кому была доверена госбезопасность страны, начиная с Ежова. Если это может в какой-то мере служить ему оправданием...— Александр Михайлович разом умолк, прислушался.

По траве зашуршали чьи-то шаги. Из сумеречной темноты послышался гулкий басок:

— Рыбакам доброго здоровья!

— Здравствуй, дедушка Сидор,— отозвался Николай.— Проходи, садись, гостем будешь.

К костру подошел овчар, коснулся рукой красной тряпицы на голове, забасил:

— У меня тут овечки неподалеку ночуют, а я думаю, семка пойду к Миколу-агроному, может, ушица у него осталась, должен же он овечьего пастыря покормить. Допрежде ты, бывало, меня подкармливал юшкой, а ноне как? С уловом?

— И уха есть, и рыба, и даже выпить деду найдется.

— Спаси Христос, добрый ты человек, дай бог тебе и твоему гостю здоровья.

Старик легко опустился на колени, поджал левую ногу, сел поудобнее и взглянул на Александра Михайловича из-под седых бровей по-молодому пронзительными, но веселыми глазами.

После обычных разговоров о видах на урожай, о травостое, о погоде старик спросил:

— Никак вы, товарищ, братцем нашему Миколе-агроному доводиться?

— Так точно, отец. Мать у нас была одна, отцы — разные. Мой отец умер, и мать долго вдовствовала, потом вышла за другого. Вот этот другой ее муж и был Колиным отцом. Понятно?

— Чего ж тут непонятного? По моему смыслу, мать — это корень, а отцы — дело такое, одним словом, всякое... Старики-то все у вас померли?

— Да. Мы с братом круглые сироты. Без отцов и бедой и радостью богатеем.

— Ничего! Вы уже большенькие. Проживете и не заметите, как старость и к вам припожалует, постучится в оконце... Так, как вот и ко мне... Люди у нас брешут, будто вы суждены были за политику. Правда ли?

— Был.

— И сколько же вам пришлось отсидеть, извиняйте за смелость?

— Не стесняйся, спрашивай, от тебя, папаша, не потаюсь.— Александр Михайлович подкинул сушняку в угасший костер, чтобы получше разглядеть старика — Четыре года с половиной отбыл.

Овчар смотрел пристально, молчал, потом сказал как бы с разочарованием:

— Не так чтобы и много.

— Отсюда глядеть — немного, а там оказалось многовато...

— Оно-то так, но я разумею про себя, что ваша вина перед властью была малая.

— Это почему же так разумеешь?

— А потому. Мою сноху в тридцать третьем году присудили на десять лет. Отсидела семь, остальные скостили. Только в прошлом году вернулась. Украла в энтот голодный год на току четыре кило пшеницы. Не с голоду же ей с детьми было подыхать? По вольному хлебу ходила, ну и взяла не спрашаючи. Вот за эти десять фунтов пшеницы и пригрохали ей за каждый фунт по году отсидки. За них и отработала семь лет. А ты — четыре, стало быть, твоей вины вполровину ее меньше... Ай не так?

— За мной, отец, никакой вины не было, по ошибке осудили. Ты же знаешь, я не за кражу сидел, а темнишь в разговоре, сравниваешь. Но божий дар с поросятиной нельзя сравнивать, не то сравнение получается. Тогда если бы за четыре кило краденного хлеба не сажали, так воровали бы по четыре центнера на душу, верно, папаша?

— Это уж само собой. Растянули бы колхозы по ниточке!

— Ну, вот мы с тобой и договорились.— Александр Михайлович рассмеялся.

Тихонько рассмеялся и овчар, прикрывая рот черной ладонью.

— А ты хитер, папаша, ты — себе на уме! — сказал Александр Михайлович.

— Хитра утка, она на день по сорок раз ухитряется жрать, а я какой же хитрый? С утра кислого молока похлебал с хлебушком и вот тяну до ночи, по вашей милости ушицы попробую — опять живой. У нас на хуторе один я с простиной в голове, а остальные все умные, все в политику вдарились. Вот, к примеру, залезет Иванова свинья к соседу Петру в огород, нашкодит там, а Петро — нет чтобы добром договориться, вст как мы с тобой,— берет карандаш, слюнявит его и пишет в ГПУ заявление на Ивана: так, мол, и так, Иван, мой сосед, в белых служил и измывался над красноармейскими семьями. ГПУ этого Ивана за воротник и к себе на гости приглашает. Глядишь, а он уже через месяц в Сибири прохлаждается. Брат Ивана на Петра пишет, что он, мол, сам в карателях был и

такое учинял, что и рассказать страшно! Берут и этого. А на брата уже карандаш слюнявит родственник Петра. Таким манером сами себя пересажали, и мужчин в хуторе осталось вовсе намале, раз-два и обчелся. Теперь в народе моих хуторян «карандашниками» зовут. Вот ведь как пересобачились. Вкус заимели один другого сажать, все политиками заделались. А раньше такого не было. Раньше, бывало, за обиду один другому морду набьет, на том и вся политика кончится. Теперь — по-новому.

— И ты, отец, на кого-нибудь писал?

— Бог миловал. На овечек, правда, хотел писать, жаловаться, что не слушают меня, старика, прут куда попадая, а все больше в люцерну... Я от такой житухи промеж людей и в овчары подался.

Николай разогрел остатки ухи, налил гостю полную миску, отрезал кусок хлеба. Старик ел не спеша, вытянув худую жилистую шею. Зубы у него были не по возрасту хорошие: краюшка черствого хлеба только похрустывала, когда он аккуратно откусывал большие куски. Чайную чашку водки он принял, почтительно склонив голову, выпил до дна и принялся за холодных окуней.

После чая, сытый, довольный, сказал:

— Давно так от души не ел, как нынче. Благодарствую, дай бог вам здоровья. К дому мне добираться далеко, ночью тут неподалеку с овчишками и кормлюсь кое-как, насухую, а нынче наелся у вас на два дня.

— Ты один управляешься, без подпаска? — спросил Николай, опрокидывая вверх дном перемытую посуду.

— Один Помощник мой дома сидит, к экзаменам готовится. Он у меня десятилетку закончил, — с гордостью сказал старик. — Да я и один управляюсь.

— Не боишься, что овечек ночью волки пощупают?

— Не, у меня с волками уговор на время: моих не трогать. Промеж нас условие: ты меня не трогай, и я тебя не буду трогать. В этом лесу noneшней весной знакомая волчица ощенилась, вот я возле ее жилья и пасу овечек. Она вблизи не берет, она далеко от своего гнезда ходит промышлять. И супру-



гу своему не велит поблизости разбойничать. И так я до осени поручаю ей овечек. В августе она молодых волчат на бахчи поведет, арбузами будет кормить. Скажи на милость, как эта животная умеет спелый арбуз от зеленого отличить? Нюх у нее работает, что ли? Ну, а как заосеняет — нашей дружбе до предбудущего года конец. Тогда я от нее овечек подальше держу. Неровен час заради своих щенят согрешит по холоду, а мне ее зорить нет охоты, пушай живет. Волчица старая, разумная и ко мне уважительная, вот и пушай в спокойе доживает. Ей и так уж осталось белому свету радоваться лет пять от силы... Вот вы и мотайте на ус, люди добрые, волчице до холодов можно верить, а вот Хитлеру — не надо бы! Животная — она всегда надежнее, у ней своя, звериная, совесть есть. А у Хитлера какая же совесть? Вон он сколько держав под себя подмял! Ему холодов дожидаться не к чему! У него щенята все как есть повыросли. У них уж небось по шкуркам седая ость пошла, они уж вроде лютых переярков стали...

Овчар еще раз поблагодарил за ужин, попрощался:

— Пойду к своим овечкам дозоревывать. Они без меня скучают. Все-таки с человеком им спокойнее.

Постукивая костылем по пересохшей земле, он вышел из света костра, исчез в темноте.

— Занятный старик! — с удовольствием проговорил Александр Михайлович, и по голосу было слышно, что он улыбается в темноте. — А насчет Гитлера он в общем-то правильно соображает. Значит, в народе поговаривают о войне?

— Всякое говорят. А ты как думаешь, генерал?

— Мои друзья-военные ждут. Успеть бы только перевооружить армию новой техникой. Но дадут ли они нам на это время? Там тоже не дураки. Дважды мне пришлось сталкиваться с немцами, в мировую войну, и в Испании на них пришлось посмотреть. Боюсь, что на первых порах тяжело нам будет. Армия у них отобилизованная, обстрелянная, настоящую боевую выучку за два года приобрела, да и вообще противник серьезный. Но, черт возьми, ведь «русские прусских всегда бивали»? Побьем и на этот раз! Какой ценой? Ну, браток, когда вопрос ста-

нет — быть или не быть,—о цене не говорят и не спрашивают! Сообщения нашей печати успокаивают, а вообще-то поживем — увидим! Я лично не исключаю и того, что воевать будем скоро, возможно — в этом году.

Они проговорили до рассвета. Едва лишь забрезжило, Александр Михайлович снова вскипятил чайник, на заварку всыпал целую горсть чая и, потягивая из чашки черный, обжигающий напиток, сказал:

— Привык пить там еще, в Сибири, предельно горячий, все из желания согреться, а теперь и не надо бы, но не могу отвыкнуть. Да, вот о чем тебя попрошу. Ты пригласи как-нибудь своего Ивана Степановича. Надо с ним потолковать. У него наивное представление о действительности. Если нескольких человек освободили, это не значит, что всех подряд будут освобождать. Мерзавец, который нас упрятал, сам оказался шпионом, да еще с долголетним стажем. И только когда органы докопались и окончательно убедились в том, что он работал на немецкую разведку да еще со времен нашего сближения с Германией, еще со времен Локарно,— взялись за проверку наших дел, убедились в том, что предъявленные нам обвинения — чистейшая липа, ну, и освободили, принеся соответствующие извинения... Мы были уже в лагерях, а дела наши два года разматывались до благополучного для нас кончика. Сложно все, Коля. До чертиков сложно! Давай, пожалуй, на этом закончим сегодня, а не то и рыбалка на ум не пойдет. Эту отраву вкушать надо небольшими порциями, иначе дурнить будет. Да у нас и времени в запасе целая неделя, обо всем успеем поговорить. Показывайка лучше свою сазанью снасть и просвещай, что надо делать, чтобы изловить этого зверя. Окуней я половил, а теперь мне надо добыть сазана, чтобы презентовать его Серафиме Петровне. Я должен быть до конца галантен. Понятен тебе мой рыцарский порыв?

— Вполне. Но сазаньи удочки ты не очень критикуй, они проверены на деле.

Николай принес от берега две удочки, сказал:

— Принцип ловли тот же, так же надо забрасывать лесу,

Только насадка другая. Видишь ли, здесь сазан на растительную насадку — ну, на тесто, кашу, картошку вареную — не берет, не привык он к постной пище, не вегетарианец он. Вот поэтому-то я вчера и добывал ракушки. Это — его любимое блюдо.

Александр Михайлович, посмотрев и ощупав лесы, пришел в ужас:

— Позволь, Коля, о каких там принципах ловли и насадках может идти речь, если у тебя лесы толщиной с толстую спичку? Какой же идиот сазан возьмет на такой канат? На твоей леске можно Воронка удержать!

— А что прикажешь делать? — возразил Николай. — Тонкую лесу хороший сазан рвет, как гнилую нитку. Здесь нужна глухая снасть, катушка не годится, кругом поблизости карши. Усвоил?

— А хорошие сазаны здесь есть?

— Увидишь сам или почувствуешь на удочке. Тонкая леса исключена, не выдержит. Сазан уходит с крючком во рту, раненый, и я — за надежную снасть. Я против подранков и на охоте и на рыбалке. Эти лесы я сплел из двенадцати льняных ниток, пусть попробует оборвет.

— И тоньше нет в запасе?

— Нет и не будет.

— Ну, тогда делать нечего, будем ждать поклевки на эти веревки. Чахлое дело...

— Так уж и веревки. Просто немного утолщенные лесы

— Мой жестокий черный черкес, не будем спорить, но лески толсты.

— Согласен, но зато надежны. А потом, Саша, рассуждай здраво, без предубежденности: захочет сазан кушать — возьмет и на толстую, не захочет — не возьмет и на шелковую ниточку. Учти и такое: Песчаная речка — глухая рыба провинция: сазаны тут сплошь кондовые, малограмотные, ни одного нет с высшим образованием, вот они и берут на всякую леску, берут, надеясь на свою силушку, и преспокойно не только толстые лесы рвут, но и крючки ломают, а иногда и сокрушают удилица.

Александр Михайлович недоверчиво усмехнулся, но ничего

не сказал. Они спустились с обрыва. Александр Михайлович снова сел ловить с лодки. Николай устроился на берегу, метрах в двадцати выше по течению, возле поваленного половодьем, наполовину затонувшего тополя.

Утро было прохладное. Над водой подымался туман. Тяжелая, ядреная роса клонила к земле листья травы. И снова разноголосый птичий гомон покори́л Александра Михайловича, властно заставил забыть обо всем на свете. Только легкая, неосознанная грусть тихонько теплилась у него на сердце, когда изда́лека доносился томительный и милый голос кукушки.

Прошло с полчаса. Удочки с насадкой из мякоти ракушек-перловиц были неподвижны. При взгляде на толстые светло-серые леса, вяло, безжизненно свисавшие с кончиков удилиц, у Александра Михайловича возникала досада, а в глазах сквозила явная безнадежность. «Дохлое дело! Напрасно просижу зорю. Лучше бы уж снова взяться за окуней», — подумал он и потянулся за лежавшей на корме пачкой «Беломора». Но тут внимание его привлек мягкий не то всплеск, не то всхлип. Глянув повыше удилиц, он увидел, как посреди плеса, раздвинув изогнутой спиной воду, показался метровый бронзово-золотистый сазан. Он взмахнул широким, как просяной веник, оранжево-красным хвостом и так оглушительно хлопнул им по воде, что крутые волны пошли кругами и, дойдя до лодки, высоко подняли и закачали низко осевшую корму. И тотчас же, словно дождавшись сигнала, у противоположного берега свечой вскинулся небольшой сазан, а второй — немыслимой толщины — размахнул хвостом воду левее лодки, блеснул червонным золотом чешуи и с тихим стоном снова погрузился в зеленоватую волну.

Игра сазанов продолжалась почти непрерывно минут пятнадцать, затем удары стали реже. Все это время Александр Михайлович в немом изумлении смогнул на разбушевавшийся плес и не успевал считать выпрыгивавших сазанов и тех из них, которые только на секунду показывались из воды и тонули, с кряхтением погружаясь в родную стихию.

— Теперь жди! — негромко сказал Николай.

И в ответ ему Александр Михайлович, не в силах сдержаться восторга, уже совсем не по-рыбачки заорал во весь голос:

— Это черт знает что такое! Я такого представления, Колька, за всю жизнь не видывал!

— Умолкни, ради бога! — все так же негромко посоветовал Николай.

Горящими глазами Александр Михайлович уставился на кончики удилиц, покорно замолчал. Комар больно впился ему в мочку левого уха, но, стоически выдерживая зуд, рыбак даже руки не поднял, ждал потяжки. Однако счастье обошло его стороной. Николай подсек небольшого, но удивительно резвого сазана и молча старался подтянуть его к берегу.

— Не дури, Колька! Не смей, чертов ингуш, тянуть его силой! Дай ему порезвиться, он сам уходится! — азартно советовал Александр Михайлович, стоя в корме во весь рост, от волнения часто переступая босыми ногами.

При одном виде согнутого в дугу удилица Александр Михайлович ощущал озноб во всем теле.

Уже поднявшись на поверхность и глотнув воздуха, сазан собрал последние силы и еще минут пять бойко ходил кругами, оставляя за собой белесую, косо срезанную прозрачную пленку воды. Вскоре желтобокий красавец килограмма на четыре весом улегся на дне вместительного подсачка. Александр Михайлович не вытерпел, пошел посмотреть. Сидя на корточках, он любовно гладил скользкий, прохладный бок рыбы, с негодованием говорил:

— Везет же этим жгучим брюнетам, всяким ногойцам, кумыкам и прочим представителям нацменьшинств и малых народностей! А ты — исконный русский человек — сидишь на исконней, принадлежавшей еще твоим предкам реке, сидишь, как дурак, и этот распроклятый сазан обходит тебя и неизвестно почему берется на удочку черненького потомка некогда покоренного крымского татарина! Анафемское безобразие! Чертовщина какая-то! Какой мудрец разберется в этой абракадабре?! Как хочешь, но я сгораю от черной зависти!

— Иди, садись в лодку. Счастье тебя ждет, о рыцарь, вве-

ривший свое сердце Серафиме прекрасной,— готовя кулан, улыбался Николай.

— Тебе шуточки, а как я теперь на нее взгляну? Когда она положила в корзину пол-литра водки, я растроганно прижал руку к сердцу, прошептал: «Серафима Петровна, самый жирный, самый крупный сазан из Пахомовой ямы, собственно-ручно пойманный мною, завтра будет лежать у ваших ног».

— А она что?

— Она царственно улыбнулась, сказала: «Я верю в вас, Александр Михайлович».

— Дорогой Александр Михайлович?

— Нет, просто Александр Михайлович, но «дорогой» висело в воздухе, то есть подразумевалось само собой.

— Так вот, «просто Александр Михайлович», чтобы ваше обещание не повисло в воздухе, чтобы поймать реального, а не подразумеваемого сазана, чтобы вам еще раз царственно улыбнулась ваша Дульцинея Петровна,— извольте идти, проверить насадку и упорно ждать.

— Есть идти, проверить насадку и упорно ждать! — Александр Михайлович круто повернулся, чуть не упал, зацепившись ногой за глыбу глины, но выправился и, посмеиваясь, проворно зашагал к лодке.

На восходе солнца стало еще прохладнее, потянул легкий ветерок, исчез туман, и уже окрасились, светло зазеленели кроны тополей, мягко озаренные низким солнцем.

«Мелкий и средний сазан берут с ходу, рывком, а очень крупный давит солидно, медленно, степенно гнет кончик удилица к воде»,— наставлял брата Николай. И вот именно такой клев вскоре заставил Александра Михайловича пережить мину-ту наивысшего напряжения. Леса на правой удочке выпрямилась, чуть-чуть зашевелилась, пошла книзу, и следом медленно, страшно медленно стал клониться к воде кончик удилица. Со-брав всю волю, Александр Михайлович дождался, когда кончик удилица уткнулся в воду, и только тогда плавно, но сильно подсек. И мгновенно пришло такое ощущение, будто крючок на дне намертво зацепился за корягу. А уже в следующий миг

мощная потяжка заставила Александра Михайловича вскочить на ноги, взяться за комель удилища обеими руками. Неподвластная сила, чуть ли не равная его силе, гнула удилище с нарастающим тяжелым упорством.

Николай бежал к лодке, преодолевая свалившиеся с обрыва груды земли саженными прыжками. В левой руке его развевался поднятый над головой подсак.

— Удилище! Удилище отводи назад! Не давай ему вытянуть лесу прямую! — кричал он.

Но Александр Михайлович не слышал его. Он уперся левой ногой в сиденье на корме, откинулся назад, сопротивляясь дикой силе, вырывавшей из его рук удилище, и слышал только один пугающий звук: по удилицу, от середины до самой чакановки, шел сухой треск, будто сквозь дерево пропускали электрический ток. Этот треск он не только слышал, но и ощущал побелевшими от напряжения стиснутыми пальцами, мускулами рук и предплечья.

Николай уже подбежал к лодке, успев на бегу крикнуть: — Бросай! Да бросай же!..

И в этот момент удилище, согнутое чуть ли не от самых рук рыбака и вытянутое в одну линию с лесой, со свистом распрямилось, сухо и звонко шелкнула оборванная леса. Все было кончено.

— Видел? — хриплым голосом трагически спросил качнувшийся Александр Михайлович, поворачивая к Николаю бледное лицо.

— Что видел? Бросать надо было вовремя!

— Но... такой канат и бросать?

— Теперь ты убедился, какие сазаны есть в Песчаной? Наука малOVERу!

— Нет, Коля, но это же невероятно! Это черт знает что такое! Тянул, как воротом! Силища неправдоподобная! Я его и ото дна не оторвал... Нет, с такой рыбалкой инфаркт мне обеспечен, верный инфаркт! Я до сих пор не приду в себя! У меня все еще, как у мальчишки, дрожат колени...

— Ничего, дыши глубже, и все пройдет.

— К черту с твоими советами! Сидеть буду на этой яме, пока не поймаю родного дедушку этого сазана. Хоть месяц буду сидеть, а поймаю! А что толку, если бы бросил удилище? Ведь он наверняка затащил бы в корягу!

— Наверняка.

— А что же ты говоришь: бросать надо вовремя?

— Все-таки какая-то надежда, авось, пошел бы на ту сторону. Такие случаи бывали...

— В вашей деревне с поросенком?

Николай расхохотался, дал волю давно сдерживаемому смеху. Улыбнулся и Александр Михайлович, но что-то очень кисло.

Он все еще никак не мог справиться с волнением, и, когда закуривал, руки его заметно дрожали, и он долго не мог извлечь из коробка спичку.

Около восьми часов у Александра Михайловича взялся еще один сазан. Он так стремительно хватанул насадку и пошел в глубину, что закуривавший в это время рыбак уронил на мокрое днище пачку папирос и едва успел схватить удилище. Сазан поднялся вполводы, лихо сделал два круга, а потом пошел кверху, у самой поверхности взвернул зеленый бурун воды, буйно, с переплеском хлопнул хвостом и сошел с крючка.

Николай был уже у лодки, уже готовил подсак, затопив его в воду, когда сазан так коварно обманул надежды рыбаков.

На этот раз Александр Михайлович внешне спокойно перенес свое поражение. Рассматривая крючок, он слабым голосом проговорил:

— Не везет! Чертовски не везет! Утешаюсь только тем, что этот сазан вовсе не дедушка первому, а скорее всего двоюродный племянник.

— Слабенькое утешение,— сказал Николай, сочувственно улыбаясь.

— Милый мой осетин, в беде и слабое утешение — на вес золота. У нас водка осталась?

— Больше половины бутылки и еще одна непочатая.

— Откуда еще одна?

— Тайком увез, сунул в плащ, когда выходили из дому...

— Мой дорогой имеретинец! Ты — гений! Сейчас пойду на стан и волью в себя целиком чашку, чтобы залить горе. Я полностью выбит из колеи и лишен душевного равновесия. Я, как мякоть вот этой ракушки, расплываюсь на собственных глазах...

— Но тебе же нельзя пить, Саша.



— В этом случае мне даже сам Боткин разрешил бы. Не перечь старшему! Не прекословь!

Они только что собрались завтракать в тени гостеприимного вяза, как на той стороне послышался шум автомобильного мотора, короткий сигнал.

— Наверное, по мою душу,— вглядываясь в прибрежные заросли белотала, недовольно проговорил Николай.

— Что-нибудь случилось?

— Может быть, совещание, мало ли что может случиться. Во всяком случае, очень некстати. Если я уеду, Саша, ты оставайся. Завтра я либо сам приеду к тебе и привезу харчишек, либо кого-нибудь пришлю.

— С удовольствием!

— Одному не будет скучно?

— Что ты! Для меня рыбалка и одиночество — целительный бальзам. Однако кто же это приехал?

Из кустов белотала вышли двое, подошли к берегу. Николай, взглядевшись, сказал:

— Шофер райкомовской машины и инструктор райкома Ваня Петлин. Нет, тут что-то другое...

— Перевезите меня, Николай Семенович! — послышалось с того берега.

Николай молча спустился к лодке.

Только в прошлом году демобилизованный из Красной Армии старший лейтенант Петлин подошел к Александру Михайловичу строевым шагом, четко приложил ладонь к околышу артиллерийской фуражки.

— Разрешите обратиться, товарищ генерал.— И подал конверт.— Шифровка на ваше имя.

Александр Михайлович прочитал. Широко улыбаясь, крепко обнял стоявшего рядом Николая. Он тяжело дышал и говорил с короткими паузами:

— Ну, брат, приказывают немедленно прибыть в Москву за назначением. Генштаб приказывает. Вспомнил обо мне Георгий Константинович Жуков! Что ж, послужим Родине и нашей Коммунистической партии! Послужим и верой и правдой до конца! — Он стиснул в объятиях Николая, и тот впервые за все время увидел в помутневших глазах брата слезы.

---



## **ДОГОВОРЫ СТРАХОВАНИЯ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ**

**заключаются с гражданами в возрасте от 16 до 70 лет сроком от 1 года до 5 лет на различные страховые суммы.**

● По договорам страхования Госстрах выплачивает страховые суммы за последствия несчастного случая, происшедшего на работе или в быту, самому застрахованному или лицу, указанному в страховом свидетельстве.

● Страховой взнос невелик и уплачивается за весь срок вперед. Размер его устанавливается в зависимости от профессии страхователя и рода производства, где он работает.

● Уплатить страховой взнос можно путем безналичного расчета. Для этого достаточно дать агенту Госстраха письменное поручение о разовом перечислении страхового взноса из причитающейся заработной платы.

**Для более подробного ознакомления с условиями страхования и заключения договора обращайтесь к агенту Госстраха, обслуживающему Ваш коллектив.**

Главное Управление  
государственного  
страхования РСФСР